

Диана
Белая



ОДНОЙ ЖИЗНИ МАЛО

*роман исповедь
роман инициация*



Диана Белая

Одной жизни мало.

<https://litres.ru/74262999>

SelfPub; 2026

Аннотация

В основу романа легли реальные события.

Это письмо из страны, которой больше нет.

Главный герой — Слава Головин, не «герой женского романа», не злодей и не принц. Он — живой, сложный, противоречивый мужик. Такой, кто никогда не плачет и умирает от рака в одиночестве. Тот, кто кричит «Трус не играет в хоккей!», но сам всю жизнь боится трёх простых слов. Человек, который раздаёт себя друзьям и чужим, но обделяет самых близких.

Этот роман — попытка заглянуть в его душу. Не оправдать. Не осудить. Просто рассказать, как всё было.

И в то же время книга универсальна. Она про вечные ценности. Про то, что одной жизни порой бывает мало, чтобы научиться любить, прощать и верить.

На её страницах есть тайна. Та, что переворачивает всё с ног на голову.

Вы поймёте, что смерть — это не финал. А последняя мысль умирающего — не просто вспышка угасающего сознания, а компас, указывающий душе путь в следующую жизнь. Ведь

предсмертное желание имеет силу — страшную, непостижимую, но реальную.

Содержание

Предисловие.	5
ПРОЛОГ.	8
Глава 1. Первый крик. 1961год. 5 декабря.	17
Глава 3. Зелёные глаза.	24
Глава 4. «Трус не играет в хоккей».	26
Глава 5. Венок из одуванчиков.	31
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Диана Белая

Одной жизни мало.

Предисловие.

Мои дорогие читатели, у вас в руках роман-исповедь. В его основу легли реальные события. Всё, что вы сочтёте неправдоподобным — случилось. Всё, что покажется слишком жестоким — пережито.

Это письмо из страны, которой больше нет. Из времени, которое не вернуть. Оно адресовано моим современникам и нашим потомкам. Чтобы помнили, знали, любили. Поняли, что значит быть рождённым в стране, верившей в светлое будущее, и дожить до дня, когда оно рассыпалось в прах.

И в то же время эта книга универсальна. Она про вечные ценности. Про то, что одной жизни порой бывает мало, чтобы научиться любить, прощать и верить.

Главный герой — Слава Головин, не «герой женского романа», не злодей и не принц. Он — живой, сложный, противоречивый мужик. Такой, кто никогда не плачет и умирает от рака в одиночестве. Тот, кто кричит «Трус не играет в хоккей!», но сам всю жизнь боится трёх простых слов. Че-

ловек, который раздаёт себя друзьям и чужим, но обделяет самых близких.

Эта книга — попытка заглянуть в его душу. Не оправдать. Не осудить. Просто рассказать, как всё было.

Читатель-мужчина узнает в нём — своего отца, деда, друга, а может быть, и себя. А после прочтения впервые задумается: «Говорю ли я жене, что люблю её? Не теряю ли то, что важнее всего, пока гоняюсь за тем, что кажется важным?»

Женщины увидят здесь себя — своё терпение, надежду, боль.

И те, и другие выйдут из этой истории иными.

В книге есть тайна. Та, что переворачивает всё с ног на голову. Вы поймёте, что смерть — это не финал. А последняя мысль умирающего — не просто вспышка угасающего сознания, а компас, указывающий душе путь в следующую жизнь. Ведь предсмертное желание имеет силу — страшную, непостижимую, но реальную.

Читайте. Улыбайтесь. Плачьте. Злитесь на героя. Жалейте его.

А когда перевернёте последнюю страницу, вам вдруг за-

хочется позвонить тем, кого вы давно не слышали. Обнять тех, кто ещё рядом. Сказать слова, которые годами не решались произнести.

ПРОЛОГ.

Он лежал в той же комнате, где когда-то впервые встал на коньки.

Правда, коньки тогда были дворовые — «гаги», привязанные к валенкам верёвками. А вместо льда — залитый во дворе каток, где он гонял шайбу дотемна, пока мать не выходила на крыльцо и не звала ужинать.

Он помнил этот звук: скрип снега под её валенками, и голос — негромкий, но всегда долетавший до самого края поля. И ещё — звук репродуктора из открытой форточки.

Оттуда, из тёплого нутра их хрущёвки, на мороз вырывалась бодрая песня: «Трус не играет в хоккей!»

Трус — не играет. Значит, он — не трус. Он будет играть в хоккей, он докажет. Стране, матери, отцу, себе.

Сейчас голос матери был рядом. А вот репродуктор молчал. И страна, та самая, великая, что запускала Гагарина в космос в год его рождения, лежала теперь в руинах собственной памяти, как и он сам — в этой постели.

Белые стены. Мать красила их каждые пять лет, и они возвращались к этому первозданному больничному цвету, будто время здесь останавливалось.

Но сейчас краска пахла не свежестью, а чем-то горьким и лекарственным, сладковато-тоскливым запахом, который он научился узнавать за последние месяцы. Запах уходящей жизни. Рака. Слово, которое он до последнего заменял в уме на «усталость» или «простуду».

Трус не играет в хоккей. Трус боится диагнозов.

На стене, возле кровати, висел ковёр. Тёмно-бордовый, с восточным узором, который он помнил с трёх лет. В детстве, когда болел ангиной, лежал вот так же и разглядывал эти бесконечные линии, завитки, спирали, уходящие вглубь ворса. Ему казалось, что это не просто узор — это карта. Карта мира, где можно заблудиться и найти выход. Он водил пальцем по драконьим хвостам, придумывал им имена, отправлял в путешествия. Туда, где горизонт. В страну, которая была тогда бескрайней и вечной.

Сейчас он тоже смотрел на ковёр. Но рука уже не поднималась, даже палец.

Пятьдесят пять лет. Мужик, который ещё три года назад гонял с мальчишками в футбол на школьном стадионе, мог выпить ящик пива и не опьянеть, свистел в судейский свисток так, что закладывало уши.

И вокруг него всегда, всю жизнь, собирались люди.

А теперь — никого.

Только мать сидела рядом. Семьдесят восемь лет. Сухонькая, седая, с морщинистыми руками, которые пахли землёй — она до сих пор держала герань на подоконнике. Сидела на табуретке, придвинутой вплотную к кровати, и молчала. Иногда гладила его по руке. Ладонь у неё была тёплая, живая. И этот запах — не духов, не крема, а просто её — смесь выпечки, старости и той самой герани.

Ковёр. Мать. Всё, что осталось от прошедшей жизни. Друзья ушли раньше. Все до одного. Сашка — инсульт, прямо на турнире, упал на лёд и не встал. Женька — сердце. А третий, самый близкий, — Игорь. Диабет.

После Игоря праздник закончился. В тостах появилась истерика, а в смехе — звон разбитого стекла.

Женщины... Не срослось.

Решил тогда, двадцатилетним дураком, что все они одинаковые. Нельзя верить, открываться, любить.

Четыре жены. Трое детей от трёх браков.

Ладу, мать своего единственного сына Алексея, он любил. По-настоящему. До сих пор, лёжа здесь, чувствовал где-то в груди боль, которая не уходила даже по ночам. Но и с ней не получилось. Потому что семья — это не про него. Семья — клетка, надо сидеть дома, чинить розетки, копить на дачу, ездить к теще.

А он хотел жить. Наотмашь. Полной грудью. Свисток, лёд, крики трибун, раздевалка после игры, где пахнет потом и мужским братством, баня с друзьями, поездки на сборы, гитара у костра, запах бензина в гараже...

Он выбрал это.

Но годами снился ему сон, от которого он просыпался в холодном поту.

Река. Широкая, тёмная, с маслянистым блеском закатного солнца. Обь, где он рыбачил. Лодка, старая, деревянная, с облупившейся зелёной краской, покачивалась у кромки во-

ды. В ней стояла Лада. В летнем платье, с венком из одуванчиков на голове, точно таком, какие они плели в детстве. На руках у неё был Алёша — маленький, трёхлетний, в смешной панамке.

Сон. Но в нём он был не просто зрителем. Чувствовал влажный песок под босыми ногами, запах речной воды, нагретой солнцем, лёгкий ветер, доносящий аромат луговых трав. Лада не смотрела на него. Она смотрела на другой берег, где догорал закат.

Слава бросался в воду, но вода была вязкой, густой, как кисель, и каждый шаг давался с нечеловеческим усилием. Лодка отчаливала. Лада всё так же смотрела вдаль, а маленький Алёша вдруг обернулся и посмотрел прямо на него своими зелёными глазами. В них не было ни упрёка, ни вопроса. Только знание. Словно ребёнок знал то, чего не знал взрослый. Лодка уплывала. А вместе с ней уплывала, по капле таяла его жизнь.

Он пытался глушить этот сон рюмкой, надевал маску весельчака и шёл на стадион — свистеть, орать, жить за десятых. Чтобы никто не догадался.

— Слав, — мать сжала его пальцы. Сильнее, чем обычно.

— Ты чего? Опять улетел?

— Я всегда улетал, мам. Ты же знаешь.

Она вздохнула. Сколько раз она его провожала? Сначала на тренировки, потом на сборы, к другим женщинам, в другие города. И каждый раз он улетал. А она оставалась.

«Ты у меня лучше всех этих баб», — сказал он ей вчера, в полубреду. И она заплакала.

Он посмотрел на неё. На её морщины, на седые волосы, руки, которые всю жизнь что-то делали. Стирали, готовили, зашивали ему форму, гладили по голове, когда он, уже взрослый, приползал к ней после очередного крушения.

— Прости меня, мам.

— За что?

— За всё. За то, что улетал. За то, что мало был. За то, что ты тут остаёшься одна...

Мать не ответила. Только погладила его по руке. Медленно, в такт его дыханию, которое становилось всё реже.

За окном кружился снег. Декабрь. Его время. Слава любил зиму — за хоккей, морозный воздух, за то, что в декабре пахнет мандаринами и ёлкой. И можно начать всё сначала. Новый год. Новый лист. Новая жизнь.

Великая страна, в которой он родился, тоже верила в светлое будущее. И он верил. Всем сердцем верил, что будет жить в коммунизме, что его дети будут счастливы.

А в итоге?

Слава закрыл глаза. И вдруг понял, что смотрит на себя сверху. Это не испугало. Было даже удобно — не чувствовать тяжести тела, не слышать хрипа, не ощущать, как предательски немеют пальцы.

Он видел себя: жёлтого, осунувшегося, с заострившимся носом. Видел мать, которая сидела, держа его за руку, и тихо плакала — без звука, только слёзы катились по морщинам.

И видел ковёр. Ковёр жил. Тёмно-бордовый узор на нём пульсировал, линии двигались, спирали раскручивались, и в центре, там, где в детстве он прятал драконов, открылся проход. Не дыра, не чёрный вход — просто глубина. Будто ковёр стал окном в коридор, который всегда был там, за стеной, просто он раньше его не видел. Коридор был выстлан

тем же узором. Те же завитки, те же спирали, по которым он в детстве убегал от ангины. Только теперь они светились — мягко, тепло, призывно, как свет в конце тоннеля, о котором пишут в книжках.

— Мам, — позвал он, не открывая глаз. Голос шёл уже не из тела, а откуда-то из груди, чисто и легко.

— Там ... коридор. Я пойду?

Мать не спросила, о чём он. Может, поняла. Может, просто знала что-то, что знают только матери, проводившие детей сначала в школу, потом в армию, потом в жизнь, а теперь — вот сюда. В этот коридор.

— Иди, — сказала она тихо, и голос её дрогнул.

— Если надо — иди. Я тут посижу. Посижу ещё.

Он шагнул. И увидел всё. Не вспомнил — именно увидел, как кино, прокрученное за мгновение. Всю жизнь. Больницы, разводы, пустые квартиры, женщины, крики, слёзы, обиды. Потом — друзья, баня, хоккей, раздевалки, победы, свисток, лёд.

Картинки закрутились, понеслись, как кинолента в старом

проекторе, когда плёнка срывается и трещит.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Становление.

Глава 1. Первый крик.

1961год. 5 декабря.

Он не помнил, как перестал быть частью материнского тела и стал отдельным существом. Но теперь, висая в тёмной пустоте, ощущал всё заново — и то, что чувствовал тогда, младенцем, и то, что чувствовала она.

Слава слышал, как билось сердце матери. Глухой, мощный, успокаивающий ритм, под который он сворачивался как-то лачиком и сосал палец. Ему было хорошо. Тепло. Безопасно.

Это рай: быть внутри любви, ещё не зная, что такое любовь.

А потом началось. Давление. Сжатие. Стены его маленькой вселенной дрогнули и стали выталкивать его: грубо, неумолимо, куда-то, где не было ни тепла, ни ритма, ни покоя.

Он сопротивлялся, не разумом, а телом, древним животным инстинктом: «Не хочу! Здесь хорошо! Оставьте меня!»

Но сила была больше. Его тащили, сжимали, выкручивали. Первая в жизни боль пронзила целиком. Не локальная, не в одном месте, а тотальная, заполняющая всё существо.

А потом — свет. Ослепительный, режущий, невыносимый. Холод, обжёгший кожу. Воздух, хлынувший в лёгкие и разорвавший их изнутри. Его собственный крик, тонкий, пронзительный, отчаянный. Первый крик человека, которого выбросили из рая.

Но вместе с этим он слышал дыхание матери — частое, загнанное, сердце, которое всё ещё билось где-то рядом, уже не внутри, но так же гулко.

И её мысли в тот момент: «Как же он похож на моего отца! Не на мужа. Нет. Именно на отца!»

Вглядываясь в черты новорожденного, она тихо прошептала:

— Теперь он мой, навсегда мой!

Своего папу Валя очень любила. Она обижалась на мать, которая развелась с ним. По выходным они с отцом ходили кататься на карусели, ели мороженое, смеялись.

Однажды Валюша спросила:

— Папа, почему ты не живёшь с нами?

И он ответил ей:

— Это твоя мать во всём виновата! Женщина должна знать своё место!

И маленькой девочке было гораздо легче поверить отцу, каждая встреча с которым была долгожданным праздником, чем матери, которая была всегда рядом и требовала что-то: учи уроки, убери комнату, сходи в магазин!

Валя мечтала, что однажды папа вернётся и будет всегда с ней.

И он вернулся сейчас, в этот миг!

— Мальчик, — сказала акушерка, вытирая руки.

— Три пятьсот пятьдесят пять. Здоровый, орёт как резанный. Сын у вас. Поздравляю.

И мать заплакала. От счастья, от страха, от усталости. Ей было двадцать три, она только начинала работать учительницей начальных классов. Жили в общежитии, муж — простой рабочий на Вагоностроительном заводе.

А тут — ребёнок. Новый человек. Новая жизнь.

Он родился в декабре, в тот самый год, когда страна, в

которой ему предстояло жить, запустила первого в мире человека в космос. Двенадцатого апреля 1961-го Юрий Гагарин облетел Землю за сто восемь минут, и эти минуты стали точкой отсчёта новой эры. Вся планета рукоплескала, газеты выходили с портретами улыбающегося майора на первых полосах, по радио без конца крутили «Я — Земля, я своих провожаю питомцев...». Страна расправила плечи. Она первой шагнула в космос, и в этом шаге было всё: и вековая мечта о небе, военная мощь, и та особая, щемящая вера в то, что именно здесь, на одной шестой части суши, строится будущее всего человечества.

Вячеслав Головин вошёл в этот мир пятого декабря, когда до конца года оставалось меньше месяца, но эхо апрельского триумфа ещё гуляло по городам и весям.

— Как назовёте? — спросила акушерка.

Мать думала. Юрий? Красиво, в честь Гагарина, но слишком многие сейчас называют так мальчишек. Виктор? Валерий? Нет, не то. Хотелось чего-то своего, звучного, победного.

И вдруг вспомнила: в апреле, когда Гагарин летал, они с подругами сидели в общежитии и слушали радио. Диктор, захлёбываясь от восторга, сказал: «Слава советскому народу!» — все заплакали, закричали «ура» и пили потом чай с

конфетами «Мишка косолапый».

— Славой назову, — сказала она.

— Хорошее имя, — кивнула акушерка.

— Славное. И вывела в потрёпанном журнале: Головин Вячеслав Алексеевич.

Глава 2. Великая страна.

Городок, где рос Слава, назывался Алтайка.

До Москвы три с половиной тысячи километров, до краевого центра — тридцать минут на электричке, до большой жизни — бесконечность.

Алтайка насчитывала сорок тысяч жителей, с двумя заводами, железнодорожной станцией, куда приходили товарняки и два раза в день пассажирский поезд, и клубом имени Ленина, где по выходным крутили кино и танцевали под радиолу.

Работали школа, больница, библиотека с читальным залом, где пахло пылью и клеем, — там Слава будет брать книги про путешественников и шпионов. Был стадион — футбольное поле с беговой дорожкой и деревянные трибуны на пятьсот мест, которые пустовали в будни и заполнялись по выходным, когда местная команда играла с соседями.

Существовал гаражный кооператив — сто двадцать боксов, где мужики пропадали сутками, возились с моторами, пили пиво, курили «Беломор» и разговаривали. И были люди: рабочие, инженеры, учителя, врачи, продавщицы, пенсионеры, дети.

Люди, которые строили коммунизм, верили в светлое будущее и любили свою страну — той сложной любовью, какая бывает только у русских: с проклятиями и обожанием, с матом и слезами, с тоской по лучшей доле и готовностью умереть за эту землю.

Слава вырастет среди них, впитает их кровь и их веру, станет их плотью, их голосом.

А сейчас он лежит в коляске, и мать везёт его по пыльной улице мимо палисадников с мальвами и георгинами, бабкок на лавочках, гаражей, откуда пахнет бензином. Солнце светит так ярко, что хочется зажмуриться. Страна вокруг него — великая, любимая — дышит, живёт, строит.

Шестидесятые в Алтайке пахли по-особенному: газетами «Правда», которые выписывали почти в каждом доме; плакатами и лозунгами «Коммунизм победит!», висевшими в учреждениях; коммуналками, где на одной кухне ссорились

и мирились, знали друг о друге всё: кто с кем спит, сколько получает, за кого голосовал на собраниях.

Первое воспоминание Славы — запах бензина, смешанный с запахом нагретого солнцем железа и поверх всего — отцовская рубашка, пропотевшая, прокуренная, родная.

Ему года три, они с отцом в гараже. Отец возится с «Запорожцем», который для малыша тогда ещё не машина, а живое существо: светлое, горбатое, с глазами-фарами, смотрящими на него удивлённо. Слава сидит на ящике из-под инструментов, болтает ногами и смотрит, как отец что-то подкручивает, матерится сквозь зубы.

— Дай, — говорит Слава и тянет руки к гаечному ключу.

— Мал ещё, — отвечает отец.

— Подрастёшь — дам.

— А когда подрасту?

— Скоро. Будешь мне помогать.

И Слава верит, что они вместе починят эту машину и поедут на ней куда-нибудь далеко-далеко, где только река, лес и небо до самого горизонта. Он ещё не знает, что «далеко-далеко» — это всего лишь Обь, в двадцати километрах от города, куда они будут ездить с палатками каждое лето.

Глава 3. Зелёные глаза.

В шесть лет он впервые увидел Ладу. В гостях у тёти Раи и дяди Толи, которые дружили с его родителями много лет.

Мать взяла его с собой — показать новорождённую. Её только вчера привезли из роддома. Они шли через весь городок, по главной улице — мимо райкома партии с красным флагом на крыше, универмага, где в очереди за ситцем стояли женщины в платочках, пивного ларька, у которого мужики, включая его отца, иногда пропадали после смены.

Мать крепко держала за руку и говорила:

— Не балуйся, иди тихо. Там маленькая девочка. Спать будет. Не шуми.

— А как её зовут?

— Лада. Красивое имя, правда?

Слава не знал, красивое или нет. Он думал о своём — о том, что вчера отец посадил его на колени и дал порулить в «Запорожце», и это было самым главным событием.

Тётя Рая встретила их в дверях.

— Проходите, — сказала шепотом. — Не шумите, малышка только что заснула.

Они вошли в комнату, и Слава увидел кроватку — белую, с кружевным балдахином, совсем не похожую на его собственную, простую, деревянную.

В ней лежал розовый свёрток, из которого торчало крошечное, сморщенное личико с закрытыми глазками.

Девочка пахла молоком и чем-то ещё, незнакомым, чистым. Она открыла глаза. Они были зелёные. Слава смотрел в них и чувствовал, как внутри происходит что-то странное, будто сердце останавливается, а потом начинает биться быстрее, быстрее, ещё быстрее. Он не мог объяснить это чувство, но запомнил на всю жизнь.

— Нравится? — спросила мать.

— Ага, — сказал Слава. И это было правдой.

Потом, через много лет, когда Лада станет его женой и родит сына, он будет вспоминать этот миг и думать: тогда всё и началось. Тогда, в шесть лет, когда я впервые увидел её глаза. И вся моя жизнь просто дорога к этому мгновению и от него. А то, что было потом — ошибки, потери, разводы, — расплата за то, что я не сумел поверить в своё счастье.

Глава 4. «Трус не играет в хоккей».

В семь лет Слава пошёл в школу. Первого сентября 1968 года он надел новую форму — тёмно-синюю курточку, белую рубашку, брюки со стрелками, которые мать выгладила так, что можно было порезаться. В руках букет гладиолусов.

Линейка проходила во дворе школы, под красным флагом и портретом Ленина. Директор говорил речь о том, что они — будущее страны, им строить коммунизм, они должны учиться хорошо, чтобы стать достойными гражданами великой державы. Первоклассники стояли с серьёзными лицами и не понимали половины слов, но чувствовали: происходит что-то важное и торжественное.

Потом был первый урок. Учительница Анна Ивановна — старая, строгая, с пучком на затылке и очками на цепочке. Она сказала:

— Дети, вы теперь не просто мальчики и девочки. Вы — ученики, граждане Советского Союза. Будьте достойны этого звания.

Славе было страшно и интересно одновременно. Он ещё не знал, что школа станет его домом на десять лет, здесь он

найдёт друзей и врагов, встретит первую любовь.

Он рос обычным советским мальчишкой: дрался во дворе, играл в «казаки-разбойники», собирал металлолом и макулатуру, стоял в почётном карауле у памятника Ленину в День Победы.

Но было в нём нечто, сразу выделявшее его из толпы: какая-то особая стать и внутренняя уверенность, что он рождён для чего-то большего.

Может, это была черта зодиакальных стрельцов — вера в свою звезду. А может, просто эхо Гагаринского полёта, навсегда впечатавшегося в сознание мальчишек, родившихся в том году: если он смог, то и я смогу.

Двор их старой хрущёвки, куда они вскоре после рождения Славы переехали из общежития, стал его первой сценой. Не театральной — спортивной. Уже в четыре года он тащил за собой соседских мальчишек. «Давай в футбол!» — и все собирались, хотя мяч был дырявый, а поле — утоптаный пятачок между песочницей и бельевыми верёвками.

— Ваш сын — прирождённый вожак, — сказала воспитательница матери, когда Славе было пять. — Все дети за ним хвостом ходят. Только боюсь, как бы он не привык, что мир

крутится вокруг него.

Мать тогда засмеялась, польщённая.

Учился Слава легко, но настоящей страстью был спорт. Физкультура — его царство. Он первым прибегал на лыжах, забивал голы, подтягивался на турнике.

— Способный мальчик, — говорила Анна Ивановна матери на собраниях.

— Но непоседливый. Всё ему надо бежать, прыгать, на месте не сидится.

— Это в отца, — вздыхала мать.

— Тот тоже как начнёт с места в карьер...

Отец действительно был непоседливым. Выходные он проводил в гараже, на рыбалке или с друзьями. Они работали на том же заводе, собирались то у одного, то у другого, пили пиво, играли в домино, спорили о политике и футболе. Слава крутился рядом, ловил каждое слово, впитывал мужские разговоры, учился быть своим.

Когда ему исполнилось девять, он впервые услышал по радио песню, которая станет для него отправной точкой во взрослую жизнь. Она звучала из всех приёмников, из репродукторов на улицах, динамиков в школе и в клубе. Её пели

по телевизору, на демонстрациях, на спортивных соревнованиях. «Трус не играет в хоккей!»

— Хочу в хоккей, — сказал он отцу.

Отец посмотрел на него, хмыкнул.

— В нашем городе нет такой секции. Только в Барнауле, у бабушки. Ездить надо на электричке.

— Буду ездить.

— Каждую неделю?

— Буду.

Отец подумал, почесал затылок.

— Ладно. Поговорю с бабушкой.

Так началась его хоккейная жизнь.

Хоккей в краевом центре был настоящим. Ледовый дворец. Тренер гонял их до седьмого пота, до дрожи в ногах, состояния, когда хочется упасть и не вставать. Но Слава вставал. Снова и снова. Потому что знал: если не он, то кто? Если не сейчас, то когда?

— Из тебя будет толк, — сказал тренер через год. — Если не сломаешься.

— Не сломаюсь, — пообещал Слава.

Садясь в обратную электричку, он и смотрел в окно на мелькающие столбы, снежные поля, редкие огоньки деревень и думал: когда-нибудь станет знаменитым хоккеистом. И тогда отец будет им гордиться. И мать. И вообще все.

И он стал. Не самым лучшим в стране, но он играл за СССР во второй лиге и был широко известен в спортивном мире края.

Хоккей дал ему главное — чувство команды, пятерых друзей, с которыми он потом пройдёт всю жизнь, пока смерть не разлучит их.

Глава 5. Венок из одуванчиков.

В то лето Славе исполнилось тринадцать. Отец впервые разрешил ему прокатиться за рулём.

В гаражах пахло бензином, железом и ещё чем-то мужским, что нельзя было назвать, но можно было вдохнуть и почувствовать. Отец открыл замок, с грохотом распахнул ворота. Там стоял «Запорожец», горбатенький, рыжий от ржавчины.

— Садись, — сказал он.

Слава сел. Руки на руль легли сами, будто только этого и ждали.

— Заводи.

Слава повернул ключ. Мотор чихнул, затарахтел, и в этом тарыхтении, запахе бензина и горячего масла было столько жизни, что он засмеялся.

— Ну, поехали, — сказал отец.

И они поехали. Медленно, со скоростью пешехода, выехали из гаражей по грунтовке, потом на асфальт. Слава молчал, боясь дышать, боясь отпустить руль, сделать что-то не так. Но внутри пело: «Я веду машину, я веду машину!»

— Держись левее, — сказал отец. — Ям не бойся. Машина железная, ей не больно.

Славе казалось, что он никогда в жизни не был так счастлив.

А на следующий день они поехали на реку. С отцом, матерью и с ними — их друзьями, родителями Лады.

Это была традиция, заведённая годами. Как только устанавливалось тепло, они грузили палатки, спальники, еду, удочки и уезжали на Обь, на песчаный берег, где можно было стоять лагерем дня три, а то и четыре, если повезёт с погодой.

Слава любил эти поездки больше всего на свете. Дорогу. Уху из только что пойманной рыбы, которую отец варил по своему секретному рецепту, добавляя туда водки и какой-то травы, сорванной на берегу. Момент, когда взрослые выпивали и начинали петь под гитару, а дети собирались у костра.

Ладе было семь лет. Она сидела на одеяле рядом с матерью, тётёй Раей, и плела венок из одуванчиков. Слава был с отцом у костра, смотрел на угли и слушал разговор взрослых.

— А помнишь, — говорила мать, — как мы познакомились? Ты ещё в том же клубе выступал, в агитбригаде...

— Помню, — отвечал отец и улыбался.

— Ты в первом ряду сидела, в красном платье. Я всю дорогу на тебя смотрел, слова забывал.

— А ты мне не понравился сначала, — смеялась мать. — Хохотун.

— Зато потом понравился, — говорил отец и подмигивал Славе.

Слава отворачивался, чтобы не выдать смущения. Ему казалось странным думать, что родители когда-то были молодыми и влюблёнными.

Лада подошла к нему с венком.

— На, — сказала она, протягивая одуванчиковое чудо. — Это тебе.

Слава покраснел.

— Зачем мне?

— Чтобы ты был красивый, — сказала девочка серьёзно и надела венок ему на голову.

Взрослые засмеялись. Слава хотел снять, но остался сидеть в венке, глядя на Ладу, которая смотрела на него так, будто видела насквозь.

— Твоей невестой будет, — сказал отец и потрепал девочку по голове.

Она кивнула и убежала к матери.

А Слава ещё долго сидел с венком и думал: «Невеста? Глуposti. Маленькая ещё. И вообще, девчонки — они...» Но что «они», додумать не мог.

Вскоре Лада с родителями уехала на Север на несколько лет.

Глава 6. Маска.

Школьный каток, залитый возле пятиэтажки, грохот динамиков, из которых несётся «Синяя птица».

Слава увидел себя: четырнадцатилетним, в расстёгнутой куртке, с клюшкой. Он не просто катался — царствовал.

Вокруг него всегда была толпа. Мальчишки ждали его паса, девчонки стреляли глазами, даже старшие ребята уважительно хлопали по плечу.

И в этой толпе — Зина, хрупкая, красивая, за которой бежали все ребята с соседних дворов.

Она стояла у бортика, в белом платке, с варежками на резинке, и смотрела на него.

Они встречались почти год. Кино, мороженое — он был нежным, смешным, дарил милые безделушки.

Слава звал её: «Приходи, посмотри, как я играю!»

И Зина приходила. Мёрзла на трибунах, ждала, пока он закончит матч.

А он, забыв о ней, разгорячённый, счастливый, убегал с друзьями праздновать победу.

Девочка уставала быть вечно второй — после хоккея, друзей, после его бесконечных тренировок и соревнований.

Летом она уехала в деревню. Он писал письма — длинные, полные рассказов о тренировках и победах. Она отвечала редко, и где-то глубоко внутри Слава уже чувствовал: что-то идёт не так, но запрещал себе думать об этом.

Август. Вокзал. Он встречает её с цветами. Зина выходит из поезда.

Пахнет углём и дымом. Её лёгкое платье мягкое после дороги, а в глазах — усталость.

— Привет, — сказала она, едва касаясь губами его щеки.

— Слава, я встретила другого. Прости. Я не хотела, чтобы так вышло. Но я больше не могла. Ты... ты всегда где-то не со мной. Ты светишь всем, а мне... мне нужен не свет. Мне нужно тепло. А ты не умеешь греть. Ты только сияешь.

Он не понял тогда этих слов. А теперь понимает. Она не обвиняла его — она объясняла.

В тот вечер друзья нашли его в парке у фонтана. Они сели на мокрую от дождя скамейку. Никто ничего не говорил. Просто сидели, и этого было достаточно.

— Забей, — сказал наконец Сашка. — Баб много. Найдёшь ещё.

Но Слава не хотел другую. Он хотел Зину. И не понимал, почему она так поступила. Чем он хуже того, деревенского? В ту ночь не спалось. Он лежал и смотрел в потолок, внутри, где-то в самой глубине, завязывался узел, который потом будет затягиваться всё туже, пока не превратится в камень.

«Предала», — стучало в висках. И это затмевало разум, наполняло ядом сознание, вынося приговор: все бабы одинаковые!

Глава 7. Коричневый чемодан.

Кухня их старой квартиры в Алтайке. За столом сидит мать и смотрит в одну точку. Перед ней стоит чашка с остывшим чаем.

Слава не просто видел — чувствовал: холодный фарфор обжигает её пальцы, горечь невыплаканных слёз застряла в горле, тишина в квартире давит на барабанные перепонки. Тишина, которую раньше заполнял отцовский голос, его шаги, вечное: «Валя, где мои носки?»

Теперь — ничего. Только часы на стене отсчитывают минуты, складывающиеся в дни, недели, месяцы.

Отец ушёл в июне, в душный, пыльный день, когда тополиный пух забивал форточки, а по радио передавали сводку о надоях. Славе было четырнадцать. Он помнил этот день — помнил, как отец стоял у двери с коричневым кожаным чемоданом, как мать замерла с половником в руке, и капли супа падали на пол. Но то была его детская память: обрывочная, смазанная, заслонённая обидой.

Теперь он видел всё иначе. Её глазами.

Когда отец Вали ушёл из семьи, она поклялась: «У меня такого не будет! Я стану самой лучшей женой, лучшей матерью. Мой муж никогда не уйдёт».

Валентина догадывалась о другой женщине давно. Поняла по запаху чужих духов на рубашке, по тому, как муж стал задерживаться после смены, по взгляду — виноватому и одновременно вызывающему. Знала и молчала. Она терпела, надеялась, что муж перебесится и всё наладится — как надеялись тысячи женщин, чьи мужья гуляли, уходили и иногда возвращались.

Не наладилось.

— Валя, я ухожу, — сказал он тем июньским вечером, и она вдруг перестала чувствовать пол под ногами.

Это был не разговор, не ссора, не попытка что-то объяснить, а приговор, зачитанный будничным, усталым голосом.

Муж уходил от неё, как когда-то ушёл отец от матери.

— Куда? — спросила она, хотя знала ответ.

— К Люсе. Я люблю её, Валя. Прости.

Слава выскочил в коридор. В своём детском воспоминании он видел только отца — высокого, сильного, с чемоданом в руке. А теперь — и себя со стороны: худого, угловатого мальчишку в мятой футболке, судорожно сжимавшего книжку «Три мушкетёра».

— Пап, ты куда?

— По делам, Слав. По работе. Вернусь.

Отец прижал его к груди — раз, другой, словно хотел надышаться перед долгой разлукой. И вышел, хлопнув дверью.

В эту ночь Слава не спал. Лежал и смотрел на ковёр. Бор-

довый, тёплый, с драконами, которые всегда казались ему живыми. Сейчас они молчали. Мальчику показалось, что ковёр сжался, будто его ударили.

Дни потянулись, похожие один на другой. Мать вставала затемно, бежала в школу, где учила чужих детей читать и писать, а вечером возвращалась в пустую квартиру и учила своего сына жить без отца. Она не жаловалась. Не плакала при нём. Только становилась всё молчаливее, суше, словно из неё по капле вытекала жизнь.

Слава проживал эти дни вместе с ней. Чувствовал, как она засыпала, ворочаясь в холодной постели, ей не хватало тепла — даже не любви, а просто тепла живого человека рядом. Мать просыпалась среди ночи и думала: « Почему? Что я сделала не так? »

А ещё он чувствовал её страх за него.

Видел, как она смотрела и замечала, что сын меняется: становится колючим, дерзким, замкнутым. Перестаёт говорить об отце, а когда заходил разговор, обрывал: « Нет у меня отца. Умер ».

Однажды соседка, тётя Клава, сказала при нём матери: — Слышь, Валь, у муженька твоего сын родился.

Мать побледнела. Внутри всё оборвалось — не от ревности, а от страшного, окончательного понимания: у него теперь другая семья. Другой сын. А мы — отрезанный ломоть. Навсегда.

— Это его жизнь, — сказала она ровным, чужим голосом и пошла на кухню мыть посуду. Мыла долго, механически — чтобы не думать, не выть.

Слава в тот вечер заперся в ванной и впервые в жизни заплакал — зло, беззвучно, кусая полотенце. В ту минуту в нём что-то надломилось. Как ветка, которая потом, много лет спустя, сломается окончательно под тяжестью собственных грехов.

«Не открывайся, — шептал кто-то внутри. Не верь. Любовь — это когда предают. Лучше не любить».

В декабре 1979-го, когда Славе исполнилось восемнадцать, отец вернулся в семью.

Видение перенесло его в тот самый день. Слякоть, мокрый снег, серое небо. Слава пришёл с тренировки, злой после проигрыша. Открыл дверь — и замер. В прихожей стоял тот же самый коричневый кожаный чемодан. Из кухни доно-

сился знакомый, забытый голос.

— Понимаешь, Валя, я всё осознал. Понял, что не могу без вас со Славкой. Прости меня, если можешь. Я вернулся. Навсегда.

Слава проживал эту минуту заново, но теперь не только свою ярость, но и его состояние. Отца. Он чувствовал, как тот сидит за столом, сгорбленный, постаревший, в мятом пиджаке, и боится поднять глаза. Сердце его колотилось от страха и стыда. Он ненавидел себя за то, что приполз обратно, побитой собакой, но не мог иначе.

Он вернулся не потому, что ему было плохо, — вдруг понял Слава, а потому что любил нас — криво, нелепо, но любил. И хотел, чтобы мы его простили.

Мать молчала. Слава чувствовал её смятение.

А потом на кухню вошёл он сам, с мокрой шапкой в руке, с глазами, горящими ненавистью. Бросился на отца. Схватил за грудки, впечатал в стену.

Мать вскрикнула.

— Ты... кто ты такой?! — голос срывался, переходил в

шипение.

— Четыре года! Четыре года ты где-то пропадал! Бросил нас! А теперь приполз: «прости»?!

Отец не сопротивлялся. Он обмяк в руках сына, и по его щекам потекли слёзы.

— Виноват... знаю... виноват... Прости, сынок... Прости...

Слава разжал руки. Отец сполз по стене на пол, закрыл лицо ладонями. Мать стояла в дверях, белая как мел.

— Ненавижу тебя, — сказал Слава тихо, глядя сверху вниз. — Слышишь? Ненавижу. Ты мне не отец. У меня нет отца!

Он развернулся и вышел из дома. Хлопнул дверью так, что посыпалась штукатурка. На улице его вырвало, прямо у крыльца. Он стоял, согнувшись, держась за перила, и его трясло. Не от холода. От ненависти. И от любви. Потому что где-то там, глубоко-глубоко, под слоями ярости и обиды, он всё ещё любил отца.

Глава 8. Ложь.

Вокзал Алтайки. Весна 1980-го. Поезд, уходящий в неиз-

веданную даль, и он сам — восемнадцатилетний, в новой шинели, с вещмешком за плечами, стоит у окна вагона, — и смотрит, как уменьшаются фигуры матери и отца.

Мать плачет, прижимая платок к губам. Отец хмурится, курит, пускает дым в морозный воздух. Слава чувствует сейчас их обоих — так ясно, как никогда при жизни.

Мать: «Господи, сохрани его. Пусть вернётся живым и здоровым. Пусть не сломается. Я всё для него сделаю, только бы он был счастлив».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.